



Л. Пантелеев

МАРИНКА

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления.

Я поклонился и сказал:

— Здравствуйте, красавица.

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх.

После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок.

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, — еще немножко, и можно было бы сказать про нее: вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не наведешь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком».

Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил на первом этаже, и, хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно, и вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество — главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками.

Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у нее шесть кукол и один мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а «булочки за сорок» (то есть сорокакопеечные венские булки) простой французской...

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она «единственная», и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер — сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жметесь к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения.

Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка ко всему прочему еще и артистка — поет и танцует.

Я попросил ее спеть. Она отвернулась и замотала головой.

— Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?

Нет, и плясать не хочет.

— Ну, пожалуйста, — сказал я.

— Ну, чего ты боишься?

— Я не боюсь, я стесняюсь, — сказала она, посмотрев на бабушку, и, так же не глядя на меня, храбро добавила: — Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь.

Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг — грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и «булочек за сорок», даже самое пребывание ночью в чужой квартире, — все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием «немец».

И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища — всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи...

Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошел немец.

— Я бы его стулом, — сказала она.

— А если стул сломается?

— Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается — я его лампой. А если лампа разобьется — я его галошей...

Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль — мишени.

Было это в августе или в сентябре 1941 года.

Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового, 1942 года.

Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казенные, общественные убежища тоже к этому времени опустели. Город уже давно превратился в передовую линию фронта, смерть стала здесь явлением обычным и привычным, и все меньше находилось охотников прятаться от нее под сводами кочегарок и подвалов.

Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег, он не

таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить «буржуйку».

Маринка уже два месяца лежала в постели.

Убогая фитюлька нещадно коптила, я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь.

— Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри...

Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло: не хватило силенок.

— Дядя... — сказала она.

Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза — и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили: «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки.

Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.

Угрюмо смотрела она куда-то в сторону — туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящей коптилки.

Я принес ей подарок — жалкий и убогий гостинец: кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышиные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства.

Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо»; только расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне — молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки.



— Бабушка, — сказала она. Голос у нее был хриплый, простуженный. — Бабушка, правда, как жалко, что, когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде?

Бабушка не ответила.

— А теперь что, не можешь? — спросил я.

Она покачала головой:

— Нет.

Бабушка опустилась на стул, заплакала.

— Боже мой, — сказала она. — Когда это все кончится только?!

Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала:

— Ах, бабушка, замолчи, ты мне надоела! «Когда это кончится?!» Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится...

Силенки изменили ей. Она снова упала на подушку.

Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил:

— А ты немцев все еще боишься, Маринка?

— Нет, не боюсь, — сказала она.

Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей:

— А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату?

Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы, стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

— Что? — переспросил я.

— Я его укушу, — сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату.

Я погладил Маринкину руку и сказал:

— Он не придет, Маринка...

Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне.

А Маринка выжила.

Я видел ее весной сорок второго года. Во дворе на солнышке играла она с подругами... Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно — держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это.

Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу.

— Дядя, — сказала она, обнимая меня, — какой вы седой, какой вы старый...

Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга — какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость.

Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня.

— Дядя, — сказала она, смущенно улыбаясь, — знаете что, хотите, я вам спляшу?

— Ого! — сказал я. — Ты уже можешь плясать?

— Да! Немножко могу. Но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки...

— Нет, Мариночка, не надо, — сказал я. — Побереги силенки — они тебе еще пригодятся. А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживем до победы, когда разобьем фашистов.

— А это скоро?

Я сказал:

— Да, скоро.

И, сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга.

Русский характер [текст]: рассказы, повесть о войне: [6+]/Л.

Пантелеев, Л. Кассиль, А. Толстой и др.; художник Г. Мацыгин.-

Москва: РОСМЭН, 2015.- 128с.: ил.

